

## Смутные дни

Война... Что я понимал тогда в сообщении о "вероломном нападении фашистской Германии"? Стыдно признаться, но ровным счетом ничего. Было это чем-то вроде внезапно погасшего света в квартире, т.е. неожиданно вторгнувшегося в обычную жизнь интересного, создающего переполох происшествия. Я сказал, что именно речь Молотова оказалась рубежом в моей жизни. Это, конечно, и верно, и неверно. Да, речь эта, начало войны переломила мою жизнь, как и жизнь всех людей страны, а для меня — как-то так уж все сошлось — действительно объективно ознаменовала конец детства. Но все это обозначилось позднее. В тот момент я воспринял случившееся так, как описал выше. Я оставался глупым, балованным (главным образом, Анютой), не испытанным по существу ни одного крупного несчастья ребенком, вовсе не представлявшим, что это, собственно, такое — война. Мне было интересно и только. Правда, скоро развитие событий (не на фронте, конечно, — о подробностях их, как, впрочем, и почти все население, я почти ничего не знал), перспектива эвакуации (новое, ни разу не слышанное до тех пор слово), разлуки с мамой и таким славным житьем на даче — все это в конце концов дотянулось и до моего глупого мальчишеского сердца.

Но тут я должен отметить одну странность: о времени после начала войны и до эвакуации (а прошло все же что-то около десяти дней — и каких дней для всех меня окружавших!) я почти ничего не помню. Объясняю я это себе так: сила последующих впечатлений, порою доводивших меня до душевного транса и приведших в конечном счете к совершенно новому этапу жизни, — все это полностью оттеснило, заслонило все непосредственно предшествовавшее. Не помню, когда выехали мы с Николиной в Москву, хотя вспоминаю, что грузовика достать так

и не удалось, и все крупногабаритные вещи наши остались на даче. Смутно проступает в памяти московская квартира Гольденвейзера, где мы слушали по радио выступление Сталина, также не вызвавшее у меня особых эмоций, один или два раза прозвучавшие сирены воздушной тревоги со скорым отбоем, так что и в убежище ни разу не пришлось побывать. Куда больше занимало меня другое: как быть в новом месте, куда предстояло уехать со школой, с драгоценным гербарием, как продолжить его пополнение? Бумагу, понятно, нужно захватить с собой, но я, ни больше, ни меньше, намеревался везти с собой еще и кирпичи! Да, да, ибо кто знает, где же их там найдешь? Об этом анекдотическом намерении моем долгое время спустя часто со смехом вспоминала мама.

Место эвакуации Центральной Музыкальной школы выяснилось очень скоро: город Пенза. Мне, лишь незадолго до этого узнавшего некоторые нецензурные слова, казалось оно почему-то не совсем приличным, а Наталия Михайловна Чегодаева, вместе с рядом других родителей собиравшаяся ехать туда же с Машей (отнюдь не "цеэмшистской", но как-никак внуч<sup>атой</sup> племянницей самого директора консерватории), вспоминала чрезвычайно старый, еще дореволюционного времени анекдот о том, как в каком-то захолустье появилась вывеска: "Стрижет и бреет Козлов из Пензы" – прописные буквы на вывеске не были обозначены, так что получалась забавная игра слов, и кроме того, можно было думать, каким же крупным центром казалась тогда Пенза, коль скоро маэстро-парикмахер использовал ее для саморекламы. Вообще-то то, что с эшелоном нашим едет Наталия Михайловна, утешало несколько маму, с ужасным волнением и тревогой переживавшую мой отъезд и неизбежную нашу разлуку: сама она ни в коем случае не могла покинуть Ленинскую библиотеку, где как зам.заведующего рукописного отдела должна была принимать самое активное участие в подго-



товке к эвакуации фондов.

И еще последнее воспоминание об этих каких-то зыбких, смутных, промежуточных днях моей жизни: общение с отцом — кажется, первое не у нас дома, а несколько часов, проведенных "в городе", где мы встретились, чтобы купить мне что-то из одежды и сфотографироваться вдвоем на прощанье. Одна из этих фотографий висит сейчас в бывшей маминной комнате: папа очень солидный, дородный (с основательным брюшком) полный достоинства и важности момента, а рядом с ним я наподобие цыпленка — худенький, веснушчатый, в съехавшем куда-то набок пионерском галстуке и, видимо, том же самом костюмчике, что только что перед этим приобретен был для моего отъезда в каком-то универмаге.

И опять же провал в памяти: совершенно не помню самый момент отбытия из Москвы, отправку на вокзал, даже прощание с мамой. Конечно, плакал, наверное плакал, — но не помню. Очнулся же от этой летаргии я лишь "оторвавшись" от столицы, когда душа привычно распахнулась для новых, уже дорожных впечатлений, когда с одной стороны все возбуждало любопытство — цветочные поляны (сколько же было цветов — такого я никогда не видел под Москвой!), полустанки, кружащиеся в плавном хороводе стволы деревьев; с другой — было очень тяжело: духота стояла нестерпимая, места были только сидячие, а тащились мы к месту назначения уж никак не меньше двух суток, так что однажды я потерял сознание, и меня откачивали Наталия Михайловна и Маша.